

## Лица и книги

Эти замѣтки — не столько о писателяхъ, сколько по поводу ихъ. Ни на какую систематичность или полноту въ характеристикахъ онѣ не претендуютъ. Въ нихъ собраны случайныя мысли.

Полнота и систематичность неминуемо привели бы насъ къ вопросу о эмигрантской литературѣ «вообще». А этой темы сейчасъ, мнѣ кажется, касаться не слѣдуетъ: отъ долгаго, пристального взглядыванія рябитъ въ глазахъ, все сказано и ничего не выяснено. Существуетъ? Не существуетъ? Жива? Мертва? Гибнетъ? Развивается? Куда идетъ? Чего хочетъ? И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Отъ усиленнаго ухода дитя, какъ извѣстно, хирѣетъ. Отъ чрезмѣрныхъ заботъ и непрерывнаго вниманія можетъ и словесность въ самомъ дѣлѣ зачахнуть.

Предположимъ же, что жива, что развивается, что растетъ. Система Кузъ въ наши дни находитъ много послѣдователей, да говорятъ она дѣйствительно не плохо. Надо надѣяться, что и увѣренность въ жизнеспособности нашей литературы принесетъ пользу. Поэтому обратимся къ отдѣльнымъ явленіямъ: общее выяснится, можетъ быть, само собой.

Одно замѣчаніе — въ заключеніе. Иногда приходится говорить о себѣ, о своихъ вкусахъ и пристрастьяхъ. Безъ этого очень трудно, почти невозможно обойтись, какъ бы ни досадно было занимать читателя самимъ собой.

### I.

Бунинъ. Каждый изъ насъ знаетъ, что говорится противъ него. Кое-что вѣрно. «Декаденты» не простили ему упорной, насмѣшливой вражды, и такъ какъ въ конечномъ счетѣ за ними осталась побѣда, Бунинъ теперь расплачивается... Впрочемъ, не совѣмъ ясно, кто побѣдилъ (Въ особенности, если принять во вниманіе совѣтскую Рос-

сію). Только правильно то, что художникъ, которому въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія было двадцать лѣтъ, долженъ былъ быть декадентомъ. Хотя не долго, хоть однимъ краемъ души. Былъ же не только бредъ, была и ослѣпляющая воздухъ братства въ открытіяхъ, содружества въ служеніи высокой новизнѣ, были догадки, проблемы и «шорохи», которые потомъ, много позже, передъ войной, мы еще доглядывали и дослушивали. Если изъ всего этого ничего не вышло, то развѣ это доводъ? Не изъ чего ничего не выводитъ: все только приносится въ жертву. (Или въ удобреніе.) Кто-то очень остро и зло замѣтилъ о Бунинѣ: «не кончилъ консерваторію». Да, ему пришлось навестывать потерянное, — и съ неизбежными пробѣлами.

Но есть культура книжная и есть культура личная, опытная; пожалуй, не столько умственная, сколько душевная. Первой — грошъ цѣна, если она замыкается въ самой себѣ: это совершеннѣйшая бессмыслица. У насъ о Леконтъ-де Лиляхъ разсуждали иногда подлинные дикари. Въ противорѣчьяхъ же «провинціализма» и «столичности» Бунина, въ долгой его борьбѣ съ навалившейся на него смолоду, тяжелой, сонной, ужасной матушкой-Русью, въ томъ медленномъ проясненіи матеріи, которое является его творческимъ дѣломъ, во всемъ этомъ есть личный даръ міру. И теперь, когда леконтъ-де-лилитъ почти всё уже бросили, выясняется, что, не попавъ въ «консерваторію», онъ обточилъ душу. Всего, чего онъ добился, добился онъ самъ, — ничему не повѣривъ на слово.

Блокъ, кстати сказать, понималъ это всегда, отстаивая Бунина отъ приравненія его къ «только бытовикамъ» и отъ высокоумныхъ улыбокъ модернистическихъ мальчишекъ (многіе изъ нихъ къ 14-му году не слышали изъ той, тайной и чудной, ослабѣвавшей музыки уже ничего, и не чувствовали, что безъ нея осталась только пошлость). Бунинъ въ пылу воспоминаній и вражды, еще и до сихъ поръ для него живой, въ запальчивости внутреннихъ, безмолвныхъ споровъ иногда объѣднаетъ самъ себя: прикидывается проще и проще, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ... Но этимъ никого не обманешь.

---

Замѣчательный писатель. Оглядываясь и подводя итоги, надо признать, что въ области чистой «беллетристики» это лучшее наше достояніе со временъ Толстого... Не исключая и Чехова, насчетъ котораго, скажу мимоходомъ, я лично еще остаюсь при «особомъ мнѣніи», — вопреки теперешнему хорошему тону, требующему преклоненія (Конечно, дѣло не всегда въ «хорошемъ тонѣ». Кат. Мансфильдъ даже русскій языкъ любила только потому, что это языкъ Чехова, а такіе люди, какъ она, съ модой никакъ не считаются). Чеховъ разнообразнѣе, психологически зорче, и какъ то весь свободнѣе Бунинъ; помню того, онъ сердечнѣе его, неизмѣримо милосерднѣе къ людямъ, къ «людишкамъ». Акакіе-акакіевическая русская традиція, которая въ послѣднія десятилѣтія слишкомъ торопливо была объявлена несуществующей, будто это только измышленіе школьныхъ учителей, въ немъ живѣе. Но Чеховъ душевно — разсвѣянъ и разслабленъ, и оттого то онъ на жалость такъ и напираетъ, что ему жаль прежде всего самого себя. «Мы отдохнемъ, мы увидимъ все небо въ алмазахъ...». Въ Чеховѣ порочень лирический звукъ, тонъ, надтреснутый и стремящійся сойти на гармонической, сбивающійся на стыдливый юморъ, когда уже не хватаетъ силъ скрывать опустошеніе (вестерлимы нѣкоторыя его письма). Образъ Чехова, какимъ онъ запечатлѣлся въ нашемъ сознаніи, вызываетъ въ памяти любую стихію, кромѣ одной: стихіи огня. Бунинъ же именно сгораеть.

---

Ну, не все ли равно: подмѣчаетъ писатель ту или иную психологическую черту или не подмѣчаетъ, рисуетъ «типы» или обходится безъ нихъ, развиваетъ фабулу или не особенно внимательно слѣдитъ за ней, — если за этимъ, надъ этимъ, послѣ этого не рвется весь онъ сказать лучшее, самое нужное, самое высокое, что ему доступно? Передать свое завѣщаніе, послужить всѣмъ своимъ творчествомъ единому, неизвѣстному человѣческому дѣлу? Не поддаться лѣни, не оказаться дезертиромъ? Трудно тутъ что-либо обстоятельно объяснить, да, какъ остроумно сказала одинъ современный мыслитель: «если надо объяснять, то не надо объяснять». Конечно, не обязательны «всякія слова», большей частью пустыя и лживыя, не нужна романтическая взвинченность, — но нужно устремленіе,

цѣнно и дорого кровное участіе въ творествѣ, полная заинтересованность и переплавка въ немъ: именно сгораніе, какъ сгорѣлъ Толстой — отъ утренней прелести «Казанковъ» къ старческому бормотанію послѣднихъ рукописей, какъ сгораетъ Бунинъ (въ отличіе отъ Толстого безъ всякой моральной боли, а въ какомъ-то другомъ болѣе ограниченно «художественномъ», менѣе библейскомъ и грозномъ плавлѣ) — отъ давнихъ деревенскихъ разсказовъ къ «Митиной любви» и «Арсеньеву». Каждому писателю предъявимъ требованія литературныя, но до нихъ общетворческія. Не только, какой у тебя талантъ, но и что ты дѣлаешь со своимъ талантомъ.

---

Два слова въ плоскости «какой». Талантъ Бунина родствененъ толстовскому по внутренней своей правдивости, Жизненность? Да, естественно было бы произнести это слово. Но вопросъ о «жизненности» запутанъ и теменъ. Все въ немъ упирается въ противорѣчія. Конечно, дѣло не въ той легкой наглядности изображенія, которой привычно достигаютъ и второстепенные беллетристы. Если бы все сводилось къ ней, были бы правы тѣ, кто не придаетъ пресловутой «жизненности» большого значенія. Но они не совсѣмъ правы.

Двусмысленность появилась недавно, въ послѣднія десятилѣтія, съ развитіемъ литературнаго натурализма, когда распространилось механическое правдоподобіе. Только теперь вопросъ получилъ и остроту. Но существовалъ онъ всегда.

Художникъ, разсказчикъ, повѣствователь строить нѣкій міръ, населяетъ его образами, подчиняетъ какимъ-то законамъ, заставляетъ «жить». Онъ воленъ сочинить и выдумать все, рѣшительно все, — кромѣ общаго принципа движенія, кромѣ ритма, который всѣмъ управляетъ: это должно быть дано, въ крайнемъ случаѣ найдено, — но не избрѣтено. Если принципъ не абсолютно безошибоченъ, получается какой-то домъ сумасшедшихъ, витрина съ манекенами, т. е. фальшь всѣхъ степеней отчетливости и уловимости, порой тончайшая, но все-таки неустраняемая. Читаешь — и чувствуешь «не то». Похоже, наглядно, искусно, — но мертво. Въ созданіи нѣтъ творческой логики, оно не можетъ жить, потому что замыселъ его не провѣренъ

всѣмъ опытомъ художника, оно не продолжаетъ этого опыта, не вышло изъ него, какъ выходить изъ реальной жизни всякое подлинно-бывшее сочетаніе отдѣльныхъ судебъ или волей... Одинъ изъ французскихъ критиковъ спросилъ недавно съ торжествующей усмѣшкой: «неужели же Данте менѣе жизненъ, чѣмъ Мопассанъ?» — и признался, что, склоненъ считать весь вопросъ объ условности и правдивости искусства абсурднымъ. Напрасно. Данте ни въ чемъ не уступаетъ Мопассану (съ поправкой на эпоху, на школу, на совсѣмъ другія задачи). Не надо только придавать фотографическому правдоподобию значенія, котораго оно не заслуживаетъ.

У Бунина нѣтъ фальши. Бывали огромные писатели, которые этимъ похвастаться не могли бы (Гоголь, который весь стоналъ отъ ощущенія порочности своего искусства, а иногда, будто забывшись, съ видимымъ удовольствіемъ, размалевывалъ чудовищныя «панно» вроде «Тараса Бульбы»; кстати, по Розанову, Гоголь писатель «дьявольскій», «нашептанный дьяволомъ»; очень вѣрно по ощущенію, или въ качествѣ «рабочей гипотезы»: дѣйствительно, невѣроятная, по-истинѣ колдовская, почти что безпримѣрная сила и вмѣстѣ съ тѣмъ безплодіе, сплошь черный и бѣлый тонъ, тайное уныніе, какая-то «всемирная скука», исходящая отъ Гоголя въ цѣломъ... Не только величайшій русскій писатель, но и величайшая русская загадка. — Затѣмъ Достоевскій, который, по Бунину, «соваль Христа во всѣ свои бульварные романы». Напоминаю фразу, заставившую многихъ людей, цѣнящихъ превыше всего культурную благопристойность мысли и выраженной, безмолвно поднять очи къ небу. Дѣйствительно, несправедливо. Но вѣдь какъ сказано, съ какой страстью! Если и придиричиво, то все-таки какой свѣтъ, мгновенный, будто вспыника молніи!). Но Пушкинъ и Толстой учатъ чистотѣ. Пушкинъ по глубокой своей сдержанности и какому-то душевному «иммунитету», не дававшему ему даже возможности рискнуть въ игрѣ искусства, всегда для Пушкина безпроигрышной. Толстой... но тутъ въ двухъ словахъ ничего не скажешь. Конечно, это художникъ «мутный» по сравненію съ Пушкинымъ, лишенный легкости, абсолютно неспособный къ скольженію. Но у Толстого было глубокое

чувство основательности въ первоначальномъ замыслѣ. Онъ азартничалъ онъ брался за все, что видѣлъ, ни передъ чѣмъ не отступалъ, но въ пониманіи отношеній духа съ матеріей, и взаимной ихъ связи, имъ руководилъ безошибочный инстинктъ. Оттого Толстой такъ и «жизнененъ». У Достоевскаго герои слишкомъ духовны, и въ этой своей чрезмѣрной духовности слишкомъ свободны: т. е. имъ уже «все позволено» — любой взлетъ, любое паденіе, разъ они лишены контроля земли и плоти. У Достоевскаго вообще — сплошной полетъ, и потому не полная убѣдительность, «чуть-чуть бредъ». Если порвалась связь, мало ли что можно сочинить еще? Если человѣкъ слушаетъ только самого себя, мало ли что можетъ ему прислышаться? Это какъ бы вѣчный упрекъ Толстого Достоевскому. И вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ же источникъ толстовской художественной совѣстливости, его чувства ответственности: связь никогда не рвется, человѣкъ всегда остается человѣкомъ, а не ангеломъ или демономъ, — и мѣръ, конечно, грубѣе и душибѣе, чѣмъ при вольныхъ блужданіяхъ въ небесномъ эфирѣ, въ немъ, конечно, меньше ликованій, ужасовъ, волшебствъ и надежды, но, конечно, въ немъ больше мужества и безстрашнаго согласія принять бытіе. Бунинъ въ этомъ отношеніи покорный ученикъ Толстого, — и если вернуться къ его распрѣ съ декадентами, не здѣсь ли придется искать и корень ея? Тѣ, какъ блудные сыновья, отправились въ далекую, изнуряющую прогулку. Онъ остался дома... Хорошо было уйти и возвратиться. Но мало у кого нашлись на это силы, да и разлюбить прелести и соблазны «тѣхъ долинъ» не легко. Зинаида Гиппіусъ, поэтъ, которому декаденство (особенно, во второй, символической, бѣло-блоковской его стадіи) всегда было довольно чуждо, но который разеудкомъ привязался къ его темамъ и тонамъ, скорѣй догадавшись о нихъ, нащупавъ ихъ, чѣмъ органически съ ними слившись, — Зинаида Гиппіусъ и та, при всей ея свободѣ отъ власти времени, сказала недавно о возвращеніи: — Такія, какъ я, — не можемъ!

Бунинъ на всѣхъ этихъ путешественниковъ поглядываетъ искоса, съ ироніей. Ему-то «возвращаться» некуда. Онъ никогда не обманывался, насчетъ того, чѣмъ кончатся эти блудныя прогулки.

---

Когда читаешь Бунина, неизмѣнно кажется: онъ все понимаетъ, все видитъ насквозь — людей, природу, вещи, мѣръ. Не много было у насъ писателей умнѣе его. Умъ называется не въ томъ, конечно, что Бунинъ заставляетъ своихъ героевъ предаваться глубокомысленнымъ разсужденіямъ: наоборотъ, бунинскіе люди разсуждаютъ и разговариваютъ мало, въ болтливости ихъ упрекнуть никакъ нельзя. Нельзя сказать и того, чтобы Бунинъ увлекался «психологіей» и стремился объяснять или освѣщать изнутри каждое душевное движеніе своихъ персонажей. Но онъ дѣйствительно создатель своихъ созданий, онъ знает о нихъ больше, чѣмъ сами они о себѣ, — и описывая какой-нибудь степной закатъ или передавая разговоръ двухъ крестьянъ, онъ не остается постороннимъ свидѣтелемъ, а въ нихъ какъ бы перевоплощается. Сказано бываетъ немного, но ясно становится все, что можно было бы сказать; нити тянутся впередъ и назадъ; передъ нами не случайная, ни съ чѣмъ не связанная «картинка», а кусокъ міра, къ которому намъ данъ ключъ. Очень легко быть умнымъ писателемъ при умныхъ герояхъ — но это не умъ, а умничаніе. Умъ творческій проявляется въ знаніи и въ способности это знаніе передать. Кстати, чаще всего онъ довольствуется людьми, которые никакимъ чрезмѣрнымъ «интеллектуализмомъ» не отличаются, хотя и не являются идиотами, конечно, — людьми, въ которыхъ все болѣе или менѣе уравновѣшено. Анна Каренина не глупа и не умна. Но романъ о ней уменъ до ясновидѣнія.

Я сказалъ: кажется, что Бунинъ все понимаетъ и все видитъ. Подчеркиваю слово «кажется». Еще сильнѣе эта иллюзія, когда читаешь Толстого, потому что творческая его лабораторія обширнѣе. Часто это и приходится слышать: «Толстой все понималъ». Если не измѣняется мнѣ память, фраза эта дословно встрѣчается въ дневникѣ П. И. Чайковского, — въ записи, сдѣланной тотчасъ послѣ чтенія «Смерти Ивана Ильича». Да какъ въ самомъ дѣлѣ, подъ такимъ впечатлѣніемъ было и не сказать этого! Кажется, что и правда — надо поставить точку: больше не о чемъ писать, не о чемъ говорить.

Обобщеніе происходитъ оттого, что мѣръ, въ который мы при чтеніи вошли, гипнотически убѣдительно. Пока мы въ немъ — будто ничего другого и не существуетъ. Но потомъ, мало-по-малу, гипнозъ разсѣивается. Нѣтъ, Толстой не все понималъ: есть цѣлыя пласты жизни, кото-

рые ему остались неизвѣстны и недоступны, «міры, міры», какъ любилъ говорить Блокъ. Міры, міры... какъ бы о нихъ яснѣ сказать? Есть въ нашемъ существованіи области данныя намъ и есть «завоеванныя», тѣ, въ которыхъ человѣку еще одиноко и страшно, въ которыхъ ему еще мало воздуха, но гдѣ онъ можетъ быть когда-нибудь и утвердился. Обманщики и хитрецы слѣшно забираются туда и съ кокетливо-надменной улыбкой утверждаютъ, что имъ только тамъ и хорошо (девять десятыхъ вульгарнаго «декадентства»). Они компрометируютъ то, къ чему прикасаются. Но всего они испортить не могутъ: «что-то» есть, — и началось это, и впервые это блеснуло не теперь, а много вѣковъ тому назадъ. Толстой въ сущности не понимаетъ уже и христіанства, — не въ морали его, конечно, а въ его музыкѣ (Пишешь это и тутъ же чувствуешь, какъ эти области скомпрометированы и искажены, какъ по своему Толстой и Буининъ правы. «Музыка христіанства»... это конечно звучитъ отвратительно, парфюмерно-эффектно. Но какъ сказать иначе? Для всего этого вѣтъ еще настоящихъ словъ). Толстой не понимаетъ влюбленности въ ея внѣ-животномъ, лунномъ, безнадежномъ томленіи, въ тристановскихъ, уже послѣ-вертеровскихъ тонахъ, влюбленности, которая есть, которую нельзя же исключить изъ бытія! Вообще не понимаетъ «неба новаго», которое люди надъ собой создали: идейнаго, чувственнаго, мечтаемаго... Толстой весь въ природѣ и весь внѣ исторіи, которая ничуть же не менѣ реальна чѣмъ природа. И ужъ, конечно, онъ — внѣ культуры. Что въ «небѣ новомъ» скрыто что-то опасное, — кто же, не потерявъ разсудка, станетъ это отрицать? Но опасно было человѣку и подняться съ четверенекъ на ноги, — однако человѣкъ устоялъ. Устоять можетъ быть и теперь.

Есть не только упрекъ Толстому Достоевскому — есть и отвѣтный укоръ, отъ Достоевскаго къ Толстому. Неодолимая власть карамазовскихъ и ставрогинскихъ діалоговъ надъ многими современными душами вовсе не въ навязчивомъ ихъ глубокомысліи, а въ «химическомъ составѣ» ихъ: есть въ нихъ новый элементъ, подлинно вошедшій въ нашу жизнь, и Толстому еще невѣдомый. Есть какой-то лучъ, еще темный, есть капля яда, которымъ міръ уже отравлен... У Толстого человѣкъ плотно и прочно всей ступней стоитъ на землѣ, въ «Карамазовыхъ» онъ поднялся на цыпочки (какъ у Бодлера или у Ибсена, ко-



торые оказались настолько чужды Толстому, что онъ, со всѣмъ своимъ сердцеви́дѣніемъ, принялъ ихъ за пошляковъ, Бодлера въ особенности, не разслушавъ и не почувствовать мученическаго склада всей его поэзіи). Вообще, порывъ человѣка и тоска, какъ расплата за порывъ, — внѣ поля зрѣнія Толстого.

Бунинъ продолжаетъ «стояніе всей ступней»... Въ этихъ предѣлахъ онъ видитъ все (рѣчь идетъ, конечно, о личности, а не о сферѣ общественныхъ явленій и отношеній). Но непогрѣшимость зрѣнія и передачи, то отсутствіе фальши, о которомъ я только что упоминалъ, дается ему сравнительно легко: въ тѣ области, гдѣ почти невозможно шагнуть, не сорвавшись, онъ не заглядываетъ. Удивительно все-таки, что въ послѣдніе годы начало его къ нимъ тянуть. «Митина любовь» уже на порогѣ ихъ, но точно испугавшись болѣзненного одухотворенія своего бѣднаго героя, Бунинъ заставилъ его накануне самоубійства согрѣшить съ деревенской бабой: эти страницы — рѣдкій образецъ «непогрѣшимости», доказательство рѣдкаго художественнаго чутья, мастерской поворотъ въ сторону спасительной «жизненности» чуть ли не въ послѣднюю минуту. Именно что-то такое и нужно было ввести въ рассказъ, чтобы человѣкъ не превратился въ тѣнь, чтобы «идеаль» и реальность были сбалансированы. Но холодкомъ обреченности, отрѣшенности, безадежности — тристановской грустной пастушьей дудочкой — отъ повѣсти все-таки вѣетъ. Это во всякомъ случаѣ ужъ не Толстой. Толстой, пожалуй бы нахмурилъ брови, удивленно покачалъ головой и сказалъ: «не то, не то...», — какъ сказалъ онъ на старости лѣтъ о Достоевскомъ... Еще замѣтнѣе это истонченіе, это истаяніе въ нѣкоторыхъ главахъ «Арсеньева». Бунину душно въ его мірѣ, онъ изъ него рвется. Но инстинктъ самосохраненія, инстинктъ художника «*roug qui le monde visible existe*» его сдерживаетъ. Только безотчетный восторгъ и безотчетная печаль, разлитые во всемъ повѣствованіи, выдаютъ тревогу человѣка, который глядитъ въ неизвѣстность.

---

Еще объ отношеніи Бунина къ Толстому.

Но это ужъ — изъ области недоумѣній. Это одинъ изъ вопросовъ, которые къ Бунину хотѣлось бы обратиться.

Толстовское воздѣйствіе нельзя испытать или пере-

жить только въ плоскости искусства: оно или вовсе не доходить до сознанія, или доходить цѣликомъ. Толстой не былъ «только романистомъ». Да вѣдь и въ романахъ его, помимо слѣдовъ опыта писательскаго, есть слѣдъ опыта нравственнаго, — отчетливый и ясный задолго до пресловутаго перелома, который будто бы заставилъ Толстого взглянуть на людей и жизнь по новому. «Войну и миръ» можно, конечно, разсматривать какъ національную героическую эпопею. Но въ этой эпопеѣ съ точки зрѣнія любви къ отечеству и народной гордости столько страннаго, столько двусмысленнаго, что для воспитанія юношества въ національно-патріотическомъ духѣ она во всякомъ случаѣ не пригодна. А о позднѣйшихъ вѣщахъ нечего и говорить. Тутъ, въ этой сферѣ, Толстой вѣрнѣе кого бы то ни было перенялъ и воспринялъ опаляюще-развѣдающую сущность евангельской проповѣди. Она осложнилась въ его сознаніи личными его чертами, измѣнилась въ окраскѣ, потеряла внутреннюю свободу и легкость, но не ослабѣла въ тѣхъ своихъ свойствахъ, которыя ужаснули когда-то устоявшійся, облѣнившійся міръ. «Померкъ» міръ подъ первыми дуновениями христіанства. Такъ меркнетъ душа подъ внушеніями Толстого, — и если потомъ опять возрождается въ ней вкусъ къ дѣятельности, работѣ и благополучію, то во всякомъ случаѣ выходитъ она изъ этой передѣлки сильно помятой. Не настаиваю: возможно полное, рѣшительное отталкиваніе, возможно равнодушіе къ толстовскимъ темамъ, ко всему этому строю мысли и чувства, встрѣчается «моральная глухота при метафизической чуткости», или чуткости эстетической, культурной, политической.. Но кто это слышитъ, тотъ Толстого пойметъ. Соглашаясь или не соглашаясь, онъ утратитъ вкусъ ко внѣшнему жизненному благолѣлію во всѣхъ его проявленіяхъ. Слава, величье, доблесть, честь, сила, іерархизмъ, и прочее, и прочее — все склонится передъ «единымъ на потребу», и текучее начало любви займетъ мѣсто впереди закона, власти, права.

Бунинъ очень близокъ къ Толстому. Онъ его очень глубоко ощутилъ. Но при этомъ въ немъ остался «стражъ порядка», и не въ какомъ либо расплывчато-туманномъ смыслѣ, а въ хорошо знакомомъ, традиціонно-россійскомъ, безсмертно-дворянскомъ. Сѣрная кислота ничего въ душѣ Бунина не развѣла, онъ ни въ чемъ не усомнился. Иногда за нѣкоторыми бунинскими фразами чувствуется этакій

отрывистый, энергичный командирскій басокъ: «здоровье государя императора!» А рядомъ, тутъ же, неукротимое, правдивое, чудное вдохновеніе живая мысль, полные отзвуки стихіямъ. Не понимаю:—ставлю только вопросительный знакъ. Какъ могло одно ужиться съ другимъ? Не знаю. Конечно, у принципиальныхъ стражей порядка и столповъ преемственной законности сейчасъ къ услугамъ множество хитрыхъ, блестящихъ теорій, въ которыхъ все, что нужно доказано и все, что нужно, опровергнуто, всѣ волки сыты, всѣ овцы цѣлы, и на всякое недоумѣніе данъ исчерпывающій отвѣтъ. Была бы охота, а ужъ въ «обоснованіяхъ» всего, что только угодно, недостатка въ наши дни нѣтъ. Но Бунинъ не изъ числа потребителей этой приперченной пищи. Онъ глубже, требовательнѣе, — и проще. Играть въ то, чтобы «всѣмъ да сказать нѣтъ, а всѣмъ нѣтъ сказать да!», для него едва ли интересно.

Только, вѣроятно, «стрѣла христіанства», пронизавшая Толстого, прошла мимо него. Даже Чехова она задѣла, хотя воздѣйствіе Толстого на Чехова было не такъ непосредственно. Бунинъ же принялъ здоровье, крѣпость, первоначальную неразмышляющую довѣрчивость, — и отошелъ отъ того, чѣмъ все это въ его учительѣ было испепелено. Просто онъ любить міръ, въ которомъ родился и жилъ, и благодарность за бытіе распространяетъ на все.

Георгій Адамовичъ.